

Дмитрий Мамин-Сибиряк

# Зеленые горы



**Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк**  
**Зеленые горы**  
Серия «Из далекого прошлого»

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=322922](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=322922)

**Аннотация**

«Милые зеленые горы!.. Когда мне делается грустно, я уношусь мыслью в родные зеленые горы, мне начинает казаться, что и небо там выше и яснее, и люди такие добрые, и сам я делаюсь лучше. Да, я опять хожу по этим горам, поднимаюсь на каменистые кручи, спускаюсь в глубокие лога, подолгу сижу около горных ключиков, дышу чудным горным воздухом, напоенным ароматами горных трав и цветов, и без конца слушаю, что шепчет столетний лес... Мне кажется, что со мной вместе по зеленым горам ходит тень дорогого когда-то человека, память о котором неразрывно связана вот с этими зелеными горами, где он являлся единственным хозяином. Без этого странного человека в горах чего-то недостает, и я иногда на охоте невольно вздрагивал и пугался, когда слышался его голос и осторожные, крадущиеся шаги...»

# Содержание

2

20

# Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович

## Зеленые горы

### I

Милые зеленые горы!.. Когда мне делается грустно, я уношусь мыслью в родные зеленые горы, мне начинает казаться, что и небо там выше и яснее, и люди такие добрые, и сам я делаюсь лучше. Да, я опять хожу по этим горам, поднимаюсь на каменистые кручи, спускаюсь в глубокие лога, подолгу сижу около горных ключиков, дышу чудным горным воздухом, напоенным ароматами горных трав и цветов, и без конца слушаю, что шепчет столетний лес... Мне кажется, что со мной вместе по зеленым горам ходит тень дорогого когда-то человека, память о котором неразрывно связана вот с этими зелеными горами, где он являлся единственным хозяином. Без этого странного человека в горах чего-то недостает, и я иногда на охоте невольно вздрагивал и пугался, когда слышался его голос и осторожные, крадущиеся шаги.

Сквозь чуткий и тонкий сон самых ранних детских воспоминаний я вижу тощую, сгорбленную фигуру, которая на правом клиросе нашей маленькой деревянной заводской церкви каждое воскресенье читала совершенно непонятным бормотком и пела дребезжавшим, старческим голосом. Это был самый ветхозаветный дьячок, Николай Матвеич. Мочального цвета жиденькие волосы были заплетены в две тонкие косички и запряганы за высокий воротник праздничного казинетового подрясника; такого же цвета усы и какая-то чахлая, точно замороженная бородка, русский нос картошкой, маленькие серые глаза с крошечным зрачком, тонкая загорелая шея, точно разграфленная глубокими морщинами, круглые очки в медной оправе, берестяная табакерка в кармане, легкое покашливание и несоразмерно тяжелые шаги благодаря праздничным новым сапогам – все это составляло одно целое. Заскорузные руки с узловатыми, скрюченными пальцами умело и ловко держали топор и с трудом перелистывали закапанные воском страницы богослужебных книг, что меня постоянно удивляло.

Это был, так сказать, праздничный портрет Николая Матвеича, как и его праздничное бормотанье на клиросе.

– Точно глухарь бормочет на лиственнице, – говорил охотник Емелька, закадычный друг и приятель Николая Матвеича.

Служба в церкви кончалась. Народ расходился. Я сидел к окну и ждал, когда последними из церкви выйдут охотник Емелька, дьячок Матвеич и еще кто-нибудь из стариков. Они выходили степенно и, не торопясь, пересекали площадь, минуя базар. Наш кучер Яков тоже ждал этого момента и с хохлацким юмором говорил:

– Эге, Матвеич втикае до шинка...

Мне было каждый раз обидно за Матвеича, потому что все знали, куда он идет, и подшучивали над стариком. Наверно, и ему совестно идти через площадь, и он делал такой вид, как будто идет куда-нибудь по делу. У нас в заводе был всего один кабак, и это таинственное место мне казалось вместилищем всякой гадости. Дальше я решительно не мог себе представить Матвеича именно в кабаке: сейчас был на клиросе, читал и пел божественное, и сейчас же кабак... Мне делалось жаль старика и хотелось крикнуть: «Николай Матвеич, идите домой чай пить... Никто не будет над вами смеяться». Через некоторое время Матвеич возвращался домой, но уже другой дорогой, задами огородов. Он шел сгорбившись, слегка колеблющейся походкой, делая неверные жесты одной рукой, а другой поддерживая расходившиеся полы своего подрясника. На ходу он что-то бормотал себе под нос и снимал мехо-

вую оленью шапку собственной работы, в которой ходил и зиму и лето. За ним разбитой походкой обыкновенно плелся Емелька, тоже размахивавший руками и бормотавший. Оба неразлучных друга производили впечатление только что отравленных людей, что было уже совсем не смешно.

Другое воспоминание о Николае Матвейче связано неразрывно с нашими годовыми семейными праздниками, когда он являлся гостем, садился куда-нибудь в дальний угол и молчал. Съедался именинный пирог с рыбой; граненый графин с водкой пустел и наполнялся; в комнате поднимался одушевленный говор, а Николай Матвейч все отсиживался в своем уголке, не вступая в общий разговор. Но стоило кому-нибудь из заводских служащих поднять разговоры об охоте, как вся дьячковская застенчивость исчезала, и Николай Матвейч выступал на сцену, сразу делаясь другим человеком. Он был страстный охотник и прекрасный рассказчик. Конечно, имели свое значение и выпитая водка и именинный пирог.

– Ну-ка, Николай Матвейч, расскажи про своих олешков! – подзадоривал кто-нибудь из гостей.

Олешками Николай Матвейч называл оленей, и охота за ними была его страстью. Рассказывал он разные эпизоды из своей охоты, мастерски изображая все в лицах. Обыкновенно он выходил на середину комнаты и давал настоящее представление. Забитого дьячковской нуждой человека как не бывало, а оставался истинный любитель охоты и артист. Со стороны было смешно смотреть, как он делал прыжки, подбирая полы своего праздничного подрясника, и разными голосами передавал, как кричит олешек-бык или блеет дикая коза. Все хохотали обыкновенно до слез, наслаждаясь даровым представлением, а мне было жаль старика, не замечавшего, что смеются не над его рассказом, а над ним самим, и обидно за него. Так и хотелось сказать ему, как во время его путешествий из церкви в кабак: «Николай Матвейч, не надо: они смеются над вами. Ведь вы совсем не такой человек».

Впоследствии мне еще много раз приходилось обижаться за Николая Матвейча, когда уже его не было на свете и когда я встречал смехотворное описание русского дьячка где-нибудь у любимого автора. Русская барская литература относилась всегда к дьячку с самым обидным презрением, как к чему-то до последней степени неприличному, жалкому и ненужному, чему не должно быть места на земном шаре. Это литература выводила добродетельных нянюшек, серьезных дворецких, верных старых слуг и добрых мужичков, а дьячок являлся только в роли смехотворного ничтожества. Это был даже не человек, а так, какая-то плесень, прицепившаяся к вые благородного во всех отношениях остального человечества. Дьячок по преимуществу выводился дармоедом, пьяницей и лишенным всякого человеческого достоинства.

Эти мысли о «дьячке» интересовали меня с самого раннего детства, потому что именно здесь чувствовалось поруганное человеческое достоинство. Почему не смеются и не вышучивают самого маленького заводского служителя, который решительно ни в чем не лучше дьячка, за исключением того, что не носит смешных косиц и подрясника? Про рабочих на заводе и говорить нечего. Они являлись рядом с Николаем Матвейчем прямо аристократами. Работа на фабрике, в курене, на промыслах и по перевозке разных заводских материалов оплачивалась гораздо лучше, чем дьячковский труд. За разрешением своих сомнений я обращался к нашему кучеру Якову, типичному хохлу,<sup>1</sup> который с хохлацким юмором объяснил:

– А нэхай ему, дьячуге... Вин горилку пье.

Яков и сам был не прочь выпить «горилки», но это не ставилось ему в вину, как дьячку Николаю Матвейчу, да и сам он не стеснялся своей слабости.

Мой отец, человек самой строгой жизни, не бравший капли вина в рот, относился к Николаю Матвейчу с известным уважением, и я раз слышал, как он сказал:

---

<sup>1</sup> На Демидовских уральских заводах много хохлов, переведенных из Малороссии. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

- Николай Матвейч – настоящий философ...  
Когда я просил отца объяснить это слово, он уклончиво заметил:  
– Ты еще мал... Когда будешь больше – поймешь.

## II

Рост детского мира ограничен своими географическими пределами. Помню, как до шести лет этот мир заключался по преимуществу в стенах нашего деревенского дома, причем зимой мы сидели в комнатах почти безвыходно, а летом играли в садике, а «на улицу», которая у нас заменялась большою заводскою площадью, нас отпускали погулять только под строгим надзором няни, что уже составляло для нас личное оскорбление. Уличная детвора, проводившая все время под открытым небом, сопровождала нас самыми обидными замечаниями и остроумными кличками. Мы в качестве благовоспитанных детей сами боялись этих уличных сорванцов и сторонились их.

Следующий географический момент наступил тогда, когда нянька была отставлена и в наше распоряжение отданы были двор, сад и огород, что вместе составляло довольно большое пространство, особенно летом, причем каждое время года приносило свои детские удовольствия. С ранней весны у отца начиналась работа в маленькой тепличке; потом шли приготовления парников и приготовление большого огорода. Распускались рябины, черемухи и смородина в нашем садике, где у нас были свои любимцы, как пион, принесенный Николаем Матвейчем с гор. По-уральски пион называется «марьиным корнем». Я особенно любил этот цветок, который мне казался каким-то таинственным гостем, и я не мог себе представить, чтобы в простом лесу росли такие пышные цветы. Николай Матвейч являлся в роли волшебника, похищавшего таинственную красоту этих зеленых гор, которые отлично были видны из окон нашей детской.

- Их там много, Николай Матвейч, таких цветов? – приставал я к волшебнику.  
– Довольно...

Потом Николай Матвейч приносил с гор прекрасные пестрые лилии, которые обыкновенно разводятся в оранжереях. Они на Урале называются «саранками». Их луковицы едят.

– В саду саранка не будет расти, – объяснил Николай Матвейч. – Она свою землю любит...

- И других цветов в горах много?  
– Много... Всякие цветы в горах растут.

Благодаря Николаю Матвейчу я выучил название всех гор, которые были видны от нас. Ближайшая гора, тянувшаяся невысокой грядкой, называлась Путиной горой, за ней зеленой островерхой шапкой поднималась красавица Шульпиха, вправо от нее виднелось Седло, еще правее – Осиновая и т. д. Из-за этих гор чуть-чуть синела вершина самой высокой горы – Белой.

– Ишь как лоб-то высунула, – как-то особенно любовно говорил Николай Матвейч про последнюю.

Белая гора была слабостью Николая Матвейча, потому что под ней он бил своих олешек, а на Осиновой горе он выстроил себе балаган, где зимой жил по целым неделям. Все эти сведения я запоминал с жадностью, потому что в них открывался неведомый, таинственный горный мир. Оттуда Николай Матвейч приносил всякую дичь: глухарей, тетеревов-косачей, рябчиков; там же по зимам в горных быстрых речонках ловил налимов. Налимы особенно занимали нас. Николай Матвейч приносил их обыкновенно в мешке. Они замерзали, свернувшись кольцом. Интерес заключался в том, что стоило высыпать эти черные крендели, ломавшиеся, как сухарь, на стол в кухне и дать согреться, как они начинали шевелиться и оживали. Это был поразительный эффект. В Сибири любят делать пироги, запекая

в тесте мороженую рыбу целиком, что придавало пирогу особенную сочность, и мороженые налимы, согрившись в печи, выползали иногда из пирога.

Вообще Николай Матвеич для меня являлся неиссякаемым источником всевозможных знаний, каких нельзя было добыть ни из одной умной книжки. Но было одно обстоятельство, которое просто отравляло нам жизнь. Он жил рядом с нами. Нас разделял только огород. Выйдешь, бывало, в свой садик и вдруг слышишь протяжный, жалобный вой, который просто хватал за душу. Это была несчастная собака, которая сидела на привязи в подклети; а была она оттого, что Николай Матвеич не считал нужным ее кормить как следует.

– Чутье потеряет, если ее кормить до отвала, – коротко объяснял он. – На охоте не будет работать...

Подклеть находилась под комнатой, где жил Николай Матвеич, и как он мог выносить этот голодный вой по целым дням, для меня и до сих пор остается неразрешимой загадкой.

Эта вечно вывшая охотничья собака послужила к тому, что я начал потихоньку от хозяйки прикармливать ее. Соберешь разные кухонные остатки – кости, корки и разные объедки, укараулишь, когда Николая Матвеича нет дома, и стрелой мчишься к несчастному голодному псу.

Здесь необходимо сказать несколько слов об уральской промысловой собаке, которая является немаловажным действующим лицом в моих детских воспоминаниях. Тип охотничьей промысловой собаки вырабатывался веками, и на Урале славятся так называемые «вогулки». Вогулы – вымирающее племя инородцев, жалкие остатки которого сохранились только в самых глухих дебрях Северного Урала. Они исключительно занимаются звероловным промыслом, и от них перешла к русским промышленникам собака-вогулка. По наружности это – обыкновенная дворняга, с загнутым на спину хвостом, но опытный глаз сразу оценит породистую голову с большими глазами и острой мордой, сильную грудь и породистые, тонкие ноги. «Рубашка», то есть масть, – пестрая, причем черный, белый и желтый цвета перемешаны у каждой по-своему. Благодаря этой масти большинство вогулок носят одну кличку: Лыско. Такие охотники, как Николай Матвеич и Емелька, особенно ценили тех собак, у которых на бровях были желтые круглые пятна.

– Это вторые глаза, как у нас очки, – авторитетно объяснял Николай Матвеич. – Она ими ночью смотрит...

Раз это говорил Николай Матвеич, то я, конечно, не мог не верить. Главные достоинства такой вогулки на охоте неоценимы: она идет на медведя, ищет неумоимо белку, куницу, соболя, лисицу, облаивает осенью глухаря, когда он садится кормиться на закисшую от первого инея лиственницу, выслеживает диких коз и оленей, – одним словом, охотник без нее, как без рук. Вогулка не умеет делать только одного – стойки, как настоящие охотничьи собаки. Вторым недостатком такой промысловой собаки было то, что она гонялась за зайцами и подъедала иногда раненую птицу; но и этот недостаток легко объясняется жестокой системой воспитания голодом. Да, еще одно замечание: вогулки резко отличаются от дворняги необыкновенной чистотой своей шерсти, точно их мыли каждый день.

У Николая Матвеича перебивало много таких Лысок, и все они походили одна на другую, как монеты одного чекана, и все влачили самое жалкое существование.

Раз я попался Николаю Матвеичу на самом месте преступления. Принес Лыску костей и засиделся, любуясь, с каким аппетитом она ест.

– Пса портишь, малец... – послышался за мной голос хозяина.

Я порядочно растерялся, но все-таки проговорил:

– А если она голодна?

– На то он пес, чтобы голодать...

Благодаря собаке я познакомился с Николаем Матвеичем ближе.

### III

Квартира Николая Матвеича помещалась в конце длинного деревянного флигеля, отведенного заводоуправлением для помещения церковного причта. Николай Матвеич занимал дальний конец этого флигеля, выходивший окнами на восток, то есть к горам. Собственно квартира состояла из одной большой комнаты, разделенной деревянными переборками на три: передняя – она же и кабинет и мастерская хозяина, – из нее вход в небольшую угловую комнатку, заменявшую гостиную, и в кухню, где, собственно, проходила жизнь всей семьи. Обстановка была самая бедная, вернее – никакой обстановки. В кухне около стен шли лавки, как в крестьянских избах, и вся мебель состояла из одного деревянного стола; в кабинете хозяина была тоже лавка, только передвижная, и самодельный стул, в угловой комнате деревянный диванчик и несколько стульев.

В этом помещении ютилась довольно большая семья: жена Николая Матвеича, которую он, выпивши, называл «матерешкой», два сына и две дочери. Были еще двое старших детей, но они уже были пристроены, – старший сын служил дьяконом, а старшая дочь была замужем. Из оставшихся старший сын Митюшка работал на заводе, а младший, которого отец называл «Кулкой», был моего возраста, и мы скоро подружились. Дома Николай Матвеич держал себя почти неприступно и редко с кем разговаривал. Все понимали его с одного взгляда. В случае словесных объяснений он относился ко всем иронически, как к низшим существам. Дома у себя он точно выкупал свое вечное дьячковское унижение. Особенно доставалось в этом случае безответной «матерешке», которая скрывалась и пряталась от грозного супруга, как курица. Я лично как-то по-детски, безучастно относился к этой семейной драме, да и сами действующие лица настолько привыкли к ней, что едва ли могли представить себе что-нибудь более подходящее и более целесообразное. Дьячковская нужда одинаково угнетала всех и приводила всех к одному знаменателю.

А мне даже нравилась эта нужда, и я завидовал многому в обстановке дьячковского ежедневного обихода. Например, что могло быть лучше сидения по вечерам «с лучиной»? Сальные свечи, которые отпускались заводоуправлением, составляли роскошь, а осенние и зимние вечера так длинны. Свечи заменялись лучиной, и я был в восторге, когда меня отпускали к Николаю Матвеичу посидеть «с лучиной». Вся обстановка этого сидения была необыкновенно заманчива. Ставился, во-первых, «светец», то есть деревянное корытце на деревянных ножках и с деревянным столбиком, в котором была вбита для держания лучины железная развилка. В корытце наливалась вода, куда и падали нагоревшие от лучины угли. Зажженная свежая лучина сначала горела ярко, потом появлялись красные, длинные загибавшиеся угли и пускали едкую струю синеватого дыма. По мере сгорания лучины дым увеличивался и наполнял всю комнату удушающей пеленой. Все начинали протирать глаза, чихали, сморкались. Николай Матвеич обыкновенно сидел в сторонке и молча плел рыболовные сети, главным образом – излюбленные свои мережки. Мы, дети, больше всего заняты были лучиной, которую нужно было периодически менять, и я от души завидовал Кулке, который сидел с лучиной каждый вечер, а я мог получать это удовольствие только изредка. В самом деле, что может быть лучше, как сидеть и смотреть на горящую лучину, обламывать тонкие красные угольки, и бросать их в воду, и задыхаться от едкого березового дыма!

– Не нравится моя лучина? – подшучивает, бывало, Николай Матвеич. – А вот у меня в балагане, на Осиновой, еще лучше... Там я, как старый гриб, на сковородке пекусь. Вот там настоящий дым...

Николай Матвеич необыкновенно хорошо улыбался, причем его лицо делалось совершенно другим. При колеблющемся неверном освещении то потухавшей, то ярко вспыхивавшей лучины он казался мне каким-то сказочным человеком, каких художники рисуют в дет-



ских книжках. Жаль, что «матерешка» не подходила к роли жены старого волшебника, а то выходило бы совсем как в сказке.

Домашний костюм Николая Матвеича подходил к этому детскому представлению. Парадный подрясник бережно вешался в уголок, а дома старик ходил попросту: пестрядинные штаны, запрятанные за голенища громадных мужицких сапог, рубаха из грубой китайской выбойки кирпичного цвета, с черными горошинками, а поверх – короткая курточка из толстого крестьянского сукна или из шкурки молодого оленя. В мастерской стоял самодельный верстак, над ним самодельный шкафчик с принадлежностями охоты и рыболовства, а над шкафчиком ружье, лыжи, обтянутые оленьей кожей, и свернутые сети. Николай Матвеич для домашнего обихода делал решительно все сам, до ружейного ложа включительно, и казался мне гораздо искуснее Робинзона Крузо, почему я его и не сравнивал с этим любимцем всех детей. Свои курточки и шапки Николай Матвеич шил сам, не доверяя «матерешке», и по части выделки меха не имел соперников, – никто не умел так выделывать олений мех, белку, куницу, лисицу и т. п. Одним словом, человек, который все знал, мог и умел. Увидать без дела Николая Матвеича мне не случалось. Старик всегда был чем-нибудь занят, и если не было домашней работы, он на дворе рубил дрова про запас, копал гряды, ухаживал за своею лошадыю, сердитой рыжей кобылой, с какими-то необыкновенными белыми глазами, точно сделанными из фарфора, как у кукол.

Я убежден, что Николай Матвеич не променял бы своей передней ни на какие блага мира. Дело в том, что из единственного окна этой комнаты открывался чудный вид на родные зеленые горы.

– О! Кирюшкин пригорок! – показывал старик. – О! Белая, Шульпиха, Седло... Царство!..

Как все охотники, Николай Матвеич отличался суеверием. На охоту или рыбную ловлю он обыкновенно выходил самым ранним утром, на брезгу, то есть когда только начинал брезжить утренний свет. Делалось это с той целью, чтобы, – боже сохрани, – какая-нибудь баба не перешла дороги. В последнем случае ничего не оставалось, как вернуться домой, потому что все равно удачи не будет. «Баба», по мнению Николая Матвеича, была самое вредное существо.

– Уж она все дело испортит, – подтверждал Емелька в качестве опытного человека. – Со мной сколько раз так-то бывало: перейдет дорогу – и шабаш. Идешь с ружьем, а она, как овца, и перебежит дорогу.

Ружье в глазах Николая Матвеича имело какое-то таинственное значение, и его ничего не стоило испортить одним взглядом, а того больше – неуместным словом. Все хорошо стреляет, а тут и пошло мимо да мимо. Ружье у старика было действительно редкостное, кремневое, из старинных гладкоствольных сибирских винтовок. Из него можно было стрелять одинаково и пулей и дробью, а иногда – тем и другим вместе. Понятно, что я относился к этому таинственному орудию с величайшим уважением и не смел прикасаться руками. Во всем домашнем обиходе Николая Матвеича ружье было самою дорогою вещью, орудием пропитания и предметом удовольствия. У этого ружья был свой собственный характер, которым оно отличалось ото всех остальных ружей на свете. Я был убежден, что другого такого ружья и не могло быть.

#### IV

Мне минуло уже десять лет. В комнате, во дворе и в огороде сделалось тесно. Я уже ходил в заводскую школу, где завелись свои школьные товарищи. Весной мы играли в бабки и в шарик, удили рыбу, летом ходили за ягодами, позднюю осенью катались на коньках, когда «вставал» наш заводский пруд; зимой катались на санках, – вообще каждое время года при-

носило свои удовольствия. Но все это было не то. Меня тянуло в лес, подальше, где поднимались зеленые горы.

– Ну, малец, когда мы пойдем рыбачить? – несколько раз спрашивал меня Николай Матвейч. – Вот бы каких окуней наловили, а то и щуку...

Мать долго не решалась отпустить меня с Николаем Матвейчем, потому что вода, как известно, вещь очень опасная. Долго ли утонуть!.. Но в одно прекрасное утро разрешение было получено. Это было еще с вечера, а поэтому я почти не спал всю ночь. Ранним летним утром Николай Матвейч зашел за мной. Он был в рваной сермяжке, в оленьей зимней шапке и весь завешан собранной на веревке мережкой<sup>2</sup> – настоящий Робинзон. Мне ужасно хотелось спать, а в горах даже летнее утро бывает холодное, и над водой бродил волокнистый туман.

– Ничего, солнышко согреет, – ободрял меня Николай Матвейч, зарядив на дорогу свой нос табаком. – Жарко еще вот как будет...

В нашем заводе были два пруда – старый и новый. В старый пруд вливались две реки – Шайтанка и Сисимка, а в новый – Утка и Висим. Эти горные речки принимали в себя разные притоки. Самой большой была Утка, на которую мы и отправились. Сначала мы прошли версты три зимником, то есть зимней дорогой, потом свернули налево и пошли прямо лесом. Да, это был настоящий чудный лес, с преобладанием сосны. Утром здесь так было хорошо: тишина, смолистый воздух, влажная от ночной росы трава, в которой путались ноги.

– Вот и Матвеев луг, – объяснял Николай Матвейч, когда мы вышли из лесу на широкий мыс, огибаемый Уткой. – Тут и наши окуни.

Матвеев луг в моих детских воспоминаниях играет большую роль, потому что на нем мы проводили впоследствии много веселых юных дней. Купались, ловили рыбу и просто сидели около весело горевшего огонька. Для Николая Матвейча это место имело значение благодаря небольшой заводи, затянутой осокой и разной болотной травой. В жаркое время дня рыба входила в траву и здесь отдыхала. Я в первый раз видел, как ее ловят мережкой. Мережка – тройная сеть: в середине мелкая ячейка, а по бокам – крупные петли. Длинной она была сажен двенадцать, шириной – полтора аршина. На нижней веревке мережки укреплялись продырявленные, из обожженной глины грузила, кибасья, а на верхней, чтобы сеть не тонула, – поплавки из крученой бересты. Для прочности у Николая Матвейча мелкая средняя сеть была оплетена из синих ниток.

– Ну, вот мы и дома... – говорил старик, усаживаясь на берегу отдохнуть.

Я забыл сказать, что Николай Матвейч был в лаптях, как всегда выходил рыбачить. Дело в том, что в лаптях вода не держится и не стесняет движений.

Отдохнув, Николай Матвейч разыскал спрятанное в кустах «ботало» – длинный деревянный шест с железной воронкой на одном конце, потом распустил мережку и пошел с ней в воду обметывать траву. На поверхности оставались одни берестяные поплавки. Когда заводь была обметана мережкой, он начал ботать, то есть пошел с берега в траву и бил в воду боталом. Благодаря железной воронке получался от каждого удара такой шум, от которого рыба должна была бросаться в мережку. Эта работа продолжалась с полчаса, пока Николай Матвейч не исходил всей травы. Глубина была выше пояса, и он был весь мокрый.

– Эге, есть!.. – проговорил он, когда средние поплавки мережки начали погружаться в воду.

Он свел концы мережки вместе и потащил мережку на берег. Издали еще можно было видеть блестящую, как серебряная монета, сорожку (плотва), запутавшуюся в мелкой сети. Но эта добыча не интересовала Николая Матвейча. В крупных ячейках наружных сетей запу-

---

<sup>2</sup> На Урале мережкой называют тройную сеть. (Прим. Д. И. Мамина-Сибиряка.)

талось несколько окуней и отчаянно билась аршинная щука. Это была настоящая рыба, и Николай Матвеич торжествовал.

– Вот тебе и уха из окуней и пирог из щуки, – говорил он, умиряя бившуюся щуку.

На моей обязанности было тащить сделанную из лыка корзинку с рыбой, что было делом нелегким, – рыбы попало около десяти фунтов. Моему восторгу не было границ, и я жалел только об одном, что должен был сидеть на берегу и не мог принимать участия в закидывании мережки и в ботанье. Дальше я помогал расстилать мережку на траве, выбирать из нее речную тину и приставшую траву. А когда мережка немного просохла, мы отправились дальше, вверх по Утке.

Но дальше повторялось одно и то же, за исключением одного места, где Утка текла в суженном русле и мережку можно было перекинуть с одного берега на другой. Николай Матвеич особенно долго ботал, загоня рыбу сверху реки и снизу. Вода в реке была светлая, и я все время любовался, как в мережке запутывалась разная рыба. Особенно красивы были окуни с их красными плавниками и пестрой темно-зеленой чешуей. Я прыгал от радости, как дикарь.

Все шло отлично; но тут случилось нечто совершенно не предусмотренное. Из дому я не захватил ничего съестного и теперь испытывал муки настоящего голода. Раньше мне не случалось голодать никогда, и я не подозревал, какая это ужасная вещь. А дома чай со сливками, разные вкусные «постряпеньки», наконец, целый обед... Чтобы утолить голод, я пил воду, но это не помогало. Вода в реке была теплая и с каким-то травяным привкусом. Николай Матвеич посматривал на меня и загадочно улыбался.

– Ну, что, малец, не пора ли нам пообедать? – проговорил он после последней закидки. – Проголодался?

– Очень...

– А у меня отличный повар готовит обед... Ты не знаешь, как его зовут?

– Нет...

– Голод, малец.

Мы уселись на опушке леса у самого берега. Николай Матвеич развел огонь и бросил в него несколько картошек. А потом достал из берестяного заплечника (особого устройства коробок с крышкой, который носят за плечами) несколько ломтей хлеба, зеленого лука и завернутую в тряпочке соль. Я смотрел на эти приготовления с такою же жадностью, с какой Лыско смотрел на приносимые ему кости. Повар Николая Матвеича оказался отличным: я еще никогда и ничего вкуснее не едал, как простой ломоть черного хлеба с солью и луком. Дальше следовало второе открытие: ничего на свете не было вкуснее самого обыкновенного картофеля, испеченного в горячей золе. Это уже была настоящая роскошь, пища избранных.

– Ну, а теперь чаю напьемся из моего самовара, – говорил Николай Матвеич.

Он ободрал лоскут бересты с молодой березки, вырезал из него круг, сложил один край и защебил его в расщепленную березовую палочку. Получился так называемый «чуман», то есть берестяной ковшик. Пить из него воду было, конечно, удобнее, чем черпать ее горстями. Робинзон оказался великим искусником, хотя я и не был согласен с его самоваром, то есть с рекой Уткой.

Возвращение домой произвело на меня угнетающее впечатление, потому что я страшно устал и думал, что просто умру дорогой от усталости. А Николай Матвеич, не торопясь, шагал своей развалистой походкой и, поглядывая на меня, улыбался своей загадочной улыбкой. Когда мы дошли до первых изб, я решил про себя, что больше ни за что в мире не пойду рыбачить... От усталости мне просто хотелось сесть на землю и заплакать. А Николай Матвеич шагал себе как ни в чем не бывало, и мне делалось совестно.

## V

На другой день мои мысли совершенно изменились, и я мечтал о том, как мы опять пойдем рыбачить с Николаем Матвейчем.

В течение двух лет мы исходили с мережкой всю Утку и Шайтанку с переменным счастьем. Иногда приходилось возвращаться чуть не с пустыми руками, и можно было наловить гораздо больше удочкой, хотя последнего способа рыбной ловли Николай Матвейч и не признавал.

– Какая это ловля! – возмущался он. – Так, время убивать напрасно. Ребятня забава.

Главное удовольствие было все-таки впереди, именно – охота. Меня долго не отпускали; но потом состоялось соглашение в такой форме, что я пойду с Николаем Матвейчем, но только без ружья. Да у меня и не было своего ружья, хотя Николай Матвейч и обещал у кого-то достать.

У меня нет просто слов, чтобы выразить то волнение, которое меня охватило, когда мы в первый раз отправились с Николаем Матвейчем на Шульпиху, до которой от нашего завода считалось верст семь. Он шел со своим ружьем и с заплечником на спине, а я – с кузовком для грибов. Третьим действующим лицом был Лыско, визжавший от радости и выделявавший чудеса акробатического искусства. Утро было превосходное, точно настоящий праздник. Дорога на Шульпиху шла сначала старым заброшенным просеком (на Урале говорят «просек», а не просека), а потом мы свернули влево, где начинались покосы.

– Ужо по островкам пошукаем (поищем), – говорил Николай Матвейч, заряжая ружье. – Птица теперь по ягодникам кормится...

Стояла вторая половина июля, и трава уже поспела для покоса. Ничего красивее нельзя себе представить, как эти чудные горные луга, усеянные лесными островками и по всем направлениям изрезанные бойкими горными речками. От травы утром поднимался такой аромат, что кружилась голова. Как только мы вышли из завода, наш Лыско совсем пропал, так что я думал, что он потерялся.

– Он ищет... – объяснил Николай Матвейч, указывая на колыхавшуюся траву, где Лыско «нюхтил» ему одному известные следы.

Главное достоинство промысловой собаки в том, чтобы она «широко ходила», то есть далеко обегала дорогу, по которой идет охотник. Наш Лыско появлялся то справа, то слева, – высунет из травы свою острую морду, посмотрит, куда мы идем, и опять пропал.

– Ищи, ищи, – поощрял его Николай Матвейч.

Около одного островка послышалось страшное фурканье. Это взлетел выводок поляшей (на Урале косачей называют поляшами, а тетерьку – польнюшкой). Николай Матвейч так и замер, подняв руку кверху.

– Видел? – шепотом спрашивал он меня.

Я ничего не видел. Лыско где-то взвизгнул и несколько раз отрывисто взлаял. Мы осторожно пошли по островку, причем Николай Матвейч часто останавливался, зорко вглядываясь в зеленую чащу смешанного леса. Я не смел дышать, охваченный первым охотничьим волнением. Мы зашли в лес, и Николай Матвейч остановился. Лыско, вспугнувший выводок, подбежал к нам и тревожно смотрел вверх, напрасно отыскивая притаившуюся дичь. Мы простояли совершенно тихо минут десять, как послышалось слабое щекотание.

– Слышишь? – шепнул мне Николай Матвейч. – Это матка подзывает детей.

В ответ щекотанию послышался с разных сторон писк, а на одной березе шелохнулась ветка.

– Вон он... – шепнул мне Николай Матвейч, показывая на вершину березы. – Смотри на сучок справа.

Сколько я ни старался и ни смотрел, но так и не мог увидеть затаившуюся птицу, которая сейчас была ростом чуть не с курицу. Николай Матвейч прицелился из ружья и дал мне «просмотреть» птицу по прицелу. Я, наконец, ее увидел. Она присела к самому суку, вытянув вперед голову совершенно неподвижно. Только опытный охотничий глаз мог рассмотреть ее.

– Ну, теперь видел, малец?

Лыско, следивший за каждым движением хозяина, слабо взвизгнул, когда Николай Матвейч начал прицеливаться. Грянул выстрел, и мне показалось, что птица полетела с дерева комом раньше выстрела. Лыско рванулся было к ней, но был прогнан с позором. Я в первый раз видел застреленную птицу. Она лежала на траве, закрыв глаза, и слабо вздрагивала крыльями. Это была предсмертная агония. Около трава была забрызгана яркими пятнами свежей крови. Когда я ее взял, она показалась мне такой маленькой. Крылья распались, голова бессильно висела, мои руки были в крови. Пока Николай Матвейч заряжал ружье, я внимательно рассматривал ее и удивлялся, какая она вся чистенькая. Каждое перышко было верхом совершенства – не то что на домашней птице. Потом от нее пахло так хорошо, как пахнет только от сейчас убитой дичи. Говоря откровенно, я не испытывал ни малейшего чувства жалости к убитому живому существу. Объясняю это отчасти первым охотничьим пылом, а потом – присущей детям бессознательно жестокостью. Мне хотелось, чтобы Николай Матвейч перестрелял весь выводок, что являлось уже совершенно непонятною жадностью. Но нам удалось «взять» только две штуки, а остальные слетели.

– Ну, для начала и этого довольно, – решил Николай Матвейч, вскидывая ружье на плечо; он так носил ружье только в лесу, а в селенье опускал его книзу, точно прятал.

Следующим номером было утиное гнездо, которое Лыско разыскал на речке Мартьяне; но Николай Матвейч сделал промах и больше не стал стрелять.

– Терпеть не могу эту проклятую птицу, – ворчал он, заряжая винтовку. – Хлопот с ней не оберешься, да еще полезай за ней в воду. Как раз утонешь. Да и вкусу настоящего в дикой утке никакого нет. Травой да тиной пахнет...

Самая лучшая часть охоты началась, когда мы стали подниматься на Шульпиху, покрытую светлым сосновым бором. Собственно, настоящей охоты тут не могло быть, но Николай Матвейч, очевидно, хотел показать мне красивое лесное местечко. Действительно, кругом все было красиво. Ровные сосны поднимались желтыми колоннами, под ногами – настоящий ковер из опавшей хвои, а вверху какой-то торжественный шепот, как в громадном храме, где звуки теряются под высокими сводами. Кое-где попадались трава и лесные цветы, а потом грибы.

– Как птица и рыба, так грибы и ягоды разные бывают, – объяснил Николай Матвейч. – Сухой груздь, рыжик, боровик – это настоящий гриб, – потому как его впрок можно готовить... А другие – ничего не стоят. Малина, черника, брусника – тоже сурьезные ягоды, а вот земляника или костяника уж совсем ни к чему.

На одной опушке Лыско поднял зайца и погнал его с жалобным визгом.

– Ну, брат, шалишь, – посмеялся Николай Матвейч. – Косой-то похитрее тебя будет.

Лыско действительно вернулся через полчаса в самом жалком виде: усталый, с высунутым языком и порывистым дыханием.

– Поклон от косога принес? – шутил Николай Матвейч. – То-то, брат, не за свое ремесло принялся.

Мы сделали привал в середине горы, где у Николая Матвейча были спрятаны с весны надранные лыжи.

– Ужо в Мартьян надо стащить да в воду спустить, – объяснил он. – К осени успеют вымокнуть... Будет и свое лыко и свое мочало.

Пока мы отдыхали, Лыско исчез, и скоро послышался его мерный, отрывистый лай, точно кто рубил топором.

– Белку облаивает, – заметил Николай Матвейч, поднимаясь. – Она теперь совсем красная и ничего не стоит...

Мы скоро нашли Лыска. Он стоял перед громадной сосной и отчаянно заливался. Белку я скоро разыскал. Она сидела на сучке в середине сосны и смотрела на нас совершенно спокойно.

– Ишь, ничего не боится, – объяснил Николай Матвейч. – Знает, что никому ее сейчас не нужно... А вот как сделается по снегу серой, тогда забьется в самую вершину, и не разыщешь ее.

Чтобы потешить меня, Николай Матвейч убил ее и очень ловко освежевал, то есть снял шкуру, как перчатку. Мясо пошло в пользу Лыска, накинувшегося на него с жадностью.

## VI

Мне приходится здесь сказать несколько слов об охоте, как о жестоком удовольствии, которое особенно порицается в таком восприимчивом возрасте, как детство. Защищать охоту, конечно, нельзя, и это не требует доказательств, хоть и есть защитники, которые уверяют, что только охота развивает в мальчиках настоящее мужество и закаляет характер. Это одна сторона. С другой стороны, в большинстве наших удовольствий, допускаемых и поощряемых самой строгой педагогией, есть известный элемент жестокости. Возьмите ужение рыбы, коллекционирование насекомых, – даже собиранье гербария. Не все ли равно, убиваете вы птицу или садите живое насекомое на булавку? В том и в другом случае вы лишаете жизни живое существо...

Лично я смотрю на охоту только как на средство быть в лесу. Идти в лес так, с голыми руками, не приходится и как-то скучно, а охота является прекрасным предлогом. Про свою раннюю юность в этом отношении могу сказать только то, что я слишком много провел прекрасных дней в лесу и в горах именно благодаря охоте, причем синодик загубленных птичьих жизней не превышает нескольких десятков. Да и впоследствии я никогда не мерял охоту количеством убитой птицы, как завзятые специалисты-охотники, а разных садов, где расстреливают выпускаемых из клеток голубей, не могу видеть и до сих пор.

Первое свое ружье я получил, когда мне было уже пятнадцать лет, и домой я приезжал только на каникулы. Первой жертвой моего охотничьего искусства была несчастная ворона, убитая для пробы ружья. Но убить самому оказалось совсем другим, чем быть свидетелем того, как убивают другие. Убитая мной ворона отравила мне несколько дней, как совершенно бесцельная жестокость.

Благодаря собственному ружью я теперь уже мог самостоятельно ходить на охоту, а это представлялось таким удовольствием, равного которому нет. К этому времени у меня был уже большой друг, Костя, сын заводского служащего, у которого было тоже свое собственное ружье. Теперь мы делали уже настоящие походы в горы втроем, главным образом, на Осиную гору, где у Николая Матвейча был устроен собственный балаган. Это было счастливое время, о котором я и сейчас вспоминаю с большим удовольствием.

Обыкновенно каждая охота в горах занимала два дня. Мы уходили в горы ранним летним утром, а возвращались только на другой день, поздно вечером. Дорога на Осиную гору шла мимо Шульпихи, а потом – через знаменитые платиновые промысла, расположенные по течению реки Мартьяна. До промыслов мы успевали поохотиться и на Мартьяне делали охотничий привал у кого-нибудь из приисковых знакомых рабочих. Мы стреляли дупелей и бекасов на знаменитой Варламихе, которая дала тысячи пудов платины, а в то время представляла собой цветущие луга. Николай Матвейч не признавал охоты на болотную дичь, называл ее «шалбой» и был уверен, что убить бекаса – навсегда испортить ружье.

В то время работа на промыслах шла только летом, и картина получалась самая оживленная. По берегам Мартьяна – везде избушки и простые землянки старателей, везде курятся приветливо огоньки, а по выработкам и промывкам копошатся сотни рабочих. Эта работа на открытом воздухе носит какой-то особенно бодрый характер, – конечно, в хорошую погоду. Нам не раз случалось и заночевать в одном из таких балаганов. Приисковые рабочие, конечно, смотрели на нас, как на шалопаев, которые от нечего делать шляются по лесу, и на этом основании не упускали случая пошутить.

– Матвейч, ты бы смазал ружье-то тараканьим мозгом, – советует кто-нибудь. – Пользительно, сказывают. Тоже вот сорочья кровь очень способствует.

Мы отшучивались как умели, а Николай Матвейч вообще не любил напрасно тратить слов, особенно по части охоты: не такое это дело, чтобы лясы точить...

С промыслов наша дорога шла влево, круто забирая в гору. Это был чудный подъем. Извилистая горная тропинка шла зеленым коридором в гуще березняков и осинников. Особенно хороши были последние с своими матово-серыми стволами и трепещущей листвой, с которой точно сыпалась солнечная пыль. По густой, сочной зеленой траве так красиво бродят жирные солнечные расплывающиеся пятна. Пахнет горьковатым ароматом осиновых губок, обдает каким-то влажным теплом; где-то немолчно долбит пестрый дятел, неистово вскрикивает черная роньжа, мелькает шустрая белка. По-моему, нет красивее леса, как сплошной старый осинник. По крайней мере мне не случалось видеть ничего красивее. Дубовые и липовые рощи не могут идти в сравнение. Впрочем, может быть, сказывается свой уральский патриотизм или то, что тогда я смотрел на все молодыми глазами.

Подъем вытягивался верст в пять, и идти с ружьем в жаркий день – труд нелегкий. В сплошном лесу и охота плохая, потому что дичь держится на ягодниках, а рано утром и вечером держится около лесных троп и дорожек.

К балагану Николая Матвейча на Осиновой мы приходили обыкновенно к обеду, часа в два, в самый развал летнего зноя, и делали уже настоящий привал. Балаган был срублен из елового леса и совсем врос в землю. Сверху он был покрыт дерном, на котором розовой шапкой рос иван-чай. Окон не полагалось, а их заменяла низенькая дверь, вся засыпанная дробью и дырами от пуль, как мишень. Внутри, в глубине, помещались деревянные нары, а налево от двери – сложенный из камня-дикаря очаг. Дым сначала наполнял весь балаган, а потом уже выходил в дверь и в проделанное в крыше отверстие, заменявшее трубу.

Мы снимали разную охотничью сбрую, разводили огонь и принимались готовить охотничий обед. У Николая Матвейча хранился для этого железный котелок, в котором приготовлялась охотничья похлебка из круп, картофеля и лука, с прибавкой, смотря по обстоятельствам, очень расшибленного выстрелом рябчика, вяленой сибирской рыбы-поземины или грибов. Вкуснее такой похлебки, конечно, ничего не было на свете; а после нее следовал чай с свежими ягодами – тоже не последняя вещь в охотничьем обеде.

– Ну, теперь поснедали, отдохнули и на работу, – говорил Николай Матвейч.

Сама по себе Осиновая гора не отличалась ни высотой, ни красотой, а походила на громадную ковригу хлеба. Николай Матвейч предпочитал ее всем другим горам благодаря своему покосу и зимней охоте на оленей. Мы предпочитали уходить на охоту под Кирюшкин пригорок, стоявший рядом. Он состоял из утесистого шихана (шиханом на Урале называют скалы на вершинах гор), от которого во все стороны рассыпались каменные россыпи. Около этих россыпей почти всегда растет малина, и птица любит держаться около этой ягоды. Но мы прежде всего забирались на самую вершину шихана, чтобы отсюда досыта налюбоваться широкой горной панорамой. Мы просиживали целые часы, любуясь зеленым морем родных гор, исчерченных бойкими горными речками по всем направлениям и только кой-где тронутых человеческим жильем. Вдали виднелся наш родной завод Висим с его двумя прудами, ближе пряталась за горой деревушка Захарова, потом платиновые промыслы, – и только. В

поле нашего зрения находился Черноисточинский громадный пруд-озеро, но он заслонялся каменной глыбой Белой горы.

Ночь мы проводили в балагане на Осиновой, а чем свет отправлялись на охоту. В этих случаях Николай Матвеич был неумолим и не позволял нежиться. После целого дня шатания с ружьем по горам мы возвращались домой к вечеру, усталые до последней степени, и клялись друг другу, что это уже в последний раз.

– Я и ружье изломаю, – уверял Костя.

Но усталость проходила в одну ночь, и мы опять шли в горы, расширяя поле действия. Мы пробрались и на Белую гору, где был устроен на самой вершине отличный балаган, побывали на Седле, на Билимбаихе, на Мохнатенькой, на трех Шайтанах и на Старике-Камне.

## VII

Домой я приезжал только летом, на каникулы, и почти все время проводил в горах. Теперь мы с Костей уже без руководства Николая Матвеича бродили по горам и отлично знали все горные тропы. Но все-таки, по старой привычке, мы любили поохотиться со стариком, который в лесу был совсем другим человеком, вернее сказать, – самим собой он делался только в лесу. Самое главное, что привлекало нас в нем, – было необыкновенно развитое «чувство природы». Такое чувство есть и, к сожалению, им владеют очень немногие. Николай Матвеич и по лесу ходил не так, как другие, хотя к этому и нужно было приглядеться. Сейчас он идет рядом с вами, вы слышите его шаги, а потом – точно сквозь землю провалился. Это была привычка «скрадывать», то есть идти на всякий случай под прикрытием. По дороге старик всегда приводил в порядок буйную горную растительность, – тут сухарина (сухое дерево) пала и придавила молодую поросль, там снегом искривило, там скотина подломала. Надо помочь молодым расти, а то зря погибнут. У старика были тысячи знакомых молодых деревьев, которым он спас тем или другим образом жизнь. Он заходил навестить их, как своих воспитанников, и торжествующе любовался.

– Ведь погибла бы, – говорил он, указывая на какую-нибудь молоденькую рябинку. – Снег выпал ранний, мокрый, ну, и пригнул ее головой до самой земли, а я стряхнул снег, – вот она и красуется.

Больше всего старика волновали хищнические порубки на его любимой Осиновой горе, которые делались приисковыми рабочими с чисто русской безжалостностью к дереву. Николай Матвеич в немом отчаянии смотрел на свежие пни, валявшиеся вершины и думал вслух:

– Деревя-то не сумели по-настоящему выбрать и срубили его не по-настоящему... Выхватил одну середку, а остальное будет зря гнить в лесу да другим мешать. Хоть бы хворост да щепы в кучу собрали, а то хламят лес. Ежели бы дерево умело говорить, когда его рубят, – что бы тогда было? Ведь оно не мертвое, а живое...

Еще больше внимания оказывал Николай Матвеич всякой лесной живности, которая у него была на счету. Он наперечет знал на своей Осиновой все гнезда тетеревов, глухарей и рябчиков, тетеревиные и глухариные тока, все привычки и повадку каждой птицы.

– Зря бьют птицу, – возмущался он. – Выбивают маток до Петрова дня, цыплята остаются маленькими, ну, ястреба да лисы их и переедят. Убей матку, – все гнездо пропало. Матка-то тебе на другой год новое гнездо выведет... Вот петух – того можно бить после весенних токов, потому как он ни к чему, а матку не тронь. Божья птичка, у нее на все свой порядок. Как она весной-то радуется, как гнездышко вьет, как деток вываживает, – одна красота!.. Только вот не скажет, что и она жить хочет. Не троньте, мол, меня, не губите напрасно...



Жизнь природы, в совокупности всех ее проявлений, в глазах Николая Матвеича была проникнута неиссякаемой красотой. И любой камень, и каждая травка, и маленький горный ключик, и каждое дерево – все красиво по-своему. Какими красивыми лишайниками точно обтянуты камни в горах! А мхи, папоротники, цветы – что может быть красивее? Перемены погоды по временам года нехороши только в селении, а в лесу все и хорошо, и красиво, и полезно. И дождь, и снег, и солнце, и ветер, и холод, все работает свою указанную работу. Осенние ночи и осенние ливни нехороши только в селениях, а в лесу и в них есть своя прелесть и своя глубокая поэзия. Но больше всего Николай Матвеич любил суровую северную зиму, когда вся природа засыпала в таком красиво-торжественном покое. Кажется, все замерло, погребло, исчезло, а между тем где-то там, под саженным слоем снега, таится и теплится жизнь, которая проснется с первым весенним лучом солнца. Горная текучая вода, разносившая кругом жизнь и движение, приводила Николая Матвеича в какое-то сладостное умирание.

– Это уж вековая работница, – объяснял он. – Она и палый осенний лист стащит, и корешки у травки обмоет, и песок снесет вниз, и зернышки рассадит... Ведь и травка ходит: то вода снесет, то ветром перекинет зернышко.

В горах встречается много бродячих растений, которые точно сознательно идут в известном направлении, делая по дороге остановки для отдыха. Конечно, для таких передвижений нужны десятки и сотни лет.

Но были некоторые пункты, которых Николай Матвеич никак не мог понять. Раз мы пришли к балагану на Осиновой, и старик молча указал на разросшиеся около него репейники, чертополох, крапиву и лебеду.

– О! – проговорил он, улыбаясь.

Мы ничего не понимаем.

– Это всё дармоеды... – объяснил он. – В горах нигде не встретишь ни чертополоха, ни репья, ни крапивы, а эти дармоеды идут за человеком. Все равно, как клопы или тараканы... Ведь сюда их никто не тащит, а я же их как-нибудь принес с собой в заплечнике. И для чего они только растут?... Все равно, как помру, балаган завалится, и они перемрут все до единого. Задушит настоящая лесная трава... Ведь вот тоже и воробья не встретишь в лесу, галки, голубя. Наш домашний голубь и на дерево-то не умеет садиться, потому у него лапки иначе устроены.

– А вяхирь?

– Ну, это уж лесной голубь, совсем другое.

Сидя по вечерам у огонька, о чем, о чем мы ни переговаривали. Николай Матвеич рассказывал мастерски, как никто, и все, что он ни говорил, было передумано и перечувствовано. Каждое слово являлось полновесным зерном, как у всех серьезных и вдумчивых людей, которые умеют найти глубокий смысл в самом обыденном явлении и открыть его там, где другие ничего не видят. Это особый дар, дар избранных...

Дети по натуре – эгоисты. Мысль только о себе составляет долго все содержание внутренней детской жизни, и другие люди имеют постольку значения, поскольку они соответствуют удовлетворению этого чувства. Такой эгоизм проходит и через всю юность, как, вероятно, эгоистично прорастает в родной почве каждое зерно. Такими же эгоистами были и мы с Костей. Отлично помню, что мне не приходила в голову самая простая мысль, хорошо ли живется и как живется старику с его неотступной дьячковской нуждой. Достаточно сказать одно, что жалованья он получал всего три рубля в месяц, готовую квартиру, свечи и, кажется, по пуду муки на каждого члена семьи. А ведь нужно одеться, – это одно чего стоило. Приход был маленький и бедный, и едва ли на долю Николая Матвеича доставалось от церковных доходов рублей пятьдесят, шестьдесят в год. И человек ухитрялся прожить всю

жизнь и поднять на ноги всех детей. Николаю Матвейчу предлагали дьяконское место, но он наотрез отказался.

– А «матерешка» умрет? – коротко объяснил он. – Дьякону во второй раз жениться нельзя...

Конечно, это была шутка, как любил выражаться старик. Дело было не в «матерешке», а в том, что Николай Матвейч не в силах был расстаться с своими возлюбленными зелеными горами и охотой, – дьякон не имел права ходить на охоту, потому что она соединена с пролитием крови. Николай Матвейч так и остался вечным дьячком.

Каким образом могла прожить такая семья на такие ничтожные средства, тем более, что были привычки дорогие, как чай? Ответ самый простой: все было свое. Огород давал все необходимые в хозяйстве овощи, корова – молоко, куры – яйца, а дрова и сено Николай Матвейч заготавливал сам. Немалую статью в этом хозяйственном обиходе представляли охота и рыбная ловля. Большим местом являлась одежда, а сапоги служили вечным неразрешимым вопросом.

## VIII

В начале семидесятых годов я уезжал учиться в Петербург и перед отъездом зашел проститься с Николаем Матвейчем. Это было в начале осени. У Николая Матвейча сидел в гостях его друг Емелька. Старики показались мне как-то особенно грустными. Дело скоро разъяснилось. Емелька взял стоявшее в углу пистонное ружье и, взвешивая на руке, проговорил:

– Веселенькая штучка... Ствол нарезной, а вместо кремня – свистоны. Значит, осечкам шабаш, не как у наших кремневок...

– Ничего не выйдет, – сказал Николай Матвейч с необычным для него азартом. – Из нарезного-то ствола ты и стреляй одной пулей, а дробь разнесет...

– Да ведь я не за рябчиками пойду с ним? – сказал Емелька, тоже ожесточаясь. – Ведь как оно пулю далеко несет и как сильно бьет... А первое дело: свистон. Надел, чик! и готово...

– У тебя это в башке чикает! – ругался Николай Матвейч. – Разве это ружье? Мешалка какая-то, квашню мешать... Да я его и в руки не возьму, только руку как раз испортишь...

Спор о достоинствах кремневых и пистонных ружей велся несколько лет, и каждая сторона оставалась при особом мнении. Николай Матвейч крепко стоял на своем, отчаянно защищая свою кремневку, прослужившую ему верой и правдой всю жизнь. На наши пистонные ружья он смотрел всегда, как на детские игрушки, тем более, что из них нельзя было стрелять пулей.

Я так и уехал в Петербург, оставив спор нерешенным. В Петербурге мне пришлось прожить безвыездно лет пять, и в это время Николай Матвейч умер. Из письма Кости я узнал, что события шли в таком порядке. Сначала умерла «матерешка». Оказалось, что старик очень ее любил, несмотря на видимую грубость обращения. Когда она лежала в гробу, он украсил его живыми цветами, что поразило всех. Простой дьячок, и такие нежности... Старик сильно тосковал, потеряв скромную подругу своей многотрудной жизни. Вероятно, Емелька воспользовался этим моментом и убедил его, наконец, в преимуществах пистонного ружья. Но тут и случилась настоящая беда. Николай Матвейч «промазал» по оленю... От огорчения или от простуды он слег и больше не вставал.

Лет через пятнадцать после его смерти я был в последний раз на родных зеленых горах; я опять видел Шульпиху, Осиновую, Кирюшкин пригорок, Белую, Седло, Билимбаиху, трех Шайтанов и Старик-Камень. Я объехал верхом эти глубоко родные горы и часто вспоминал покойного Николая Матвейча. Мне иногда казалось, что между деревьями мелькает его кра-

дущаяся тень... И Кости тоже уже не было на свете. Бедняга умер в самом расцвете сил, простудившись на приисковой разведке. Родные места вызвали целый ряд других дорогих теней; но с милыми зелеными горами неразрывно связывалась тень одного Николая Матвеича, как с домом – тень его бывшего хозяина. Да, это был настоящий хозяин, а зеленые горы служили ему домом...

Горький опыт жизни научил понимать многое, что было недоступно раньше. Только теперь я понял, почему мой отец называл Николая Матвеича философом. Прежде всего, это был созерцатель, живший широкой жизнью всей природы. Она наполняла его существование, заслоняя все остальные интересы, до дьячковской нищеты включительно. Как я отлично теперь понимал Николая Матвеича, когда он в трудные минуты жизни смотрел из своего окошечка на родные зеленые горы. Дома он был только так, временным гостем, как и всякий из нас. Припомнилась мне и одна характерная сцена, происходившая у палаустного (в два ската) балагана Емельки на платиновых промыслах.

Мы запоздали и решили заночевать у Емельки. Спускался темный июльский вечер, и брести десять верст домой не представляло ничего заманчивого, а перед балаганом так приветливо курился веселый огонек, манивший отдохнуть.

– Куда вам торопиться? – приглашал Емелька. – А утром под Шульпихой еще, пожалуй, глухаря убьете...

– Глухаря не глухаря, а рябчиков найдем, – соглашался Николай Матвеич.

– Конечно, останетесь, – уговаривал я, прельщенный перспективой уснуть именно в палаустном балагане, где дуло со всех сторон, как в форточке.

Мы поели какой-то горячей похлебки, и я прилег в балагане, пока согреется чайник с водой, прилег и сейчас же, конечно, заснул мертвым сном. Вероятно, я так проспал бы до самого утра, если бы меня не разбудил страшный холод. Мои зубы выбивали лихорадочную дробь. К счастью, в чайнике была горячая вода, и я мог согреться.

– Ничего ты не понимаешь, Емелька... – говорил Николай Матвеич, продолжая какой-то бесконечный спор.

– Очень даже могу понимать: одно – богатый, другое – голь перекатная. Вполне понимаю.

– Хорошо. Возьмем богатого... Что он, по-твоему, два обеда съест или две шубы на себя наденет? Ты раскинь мозгами-то, умная голова...

– Два обеда зачем есть, а вот избу новую поставить, лошадь хорошую завести, шубу справить... Небойсь, все бы тогда вот как Емельке кланялись.

– Дураки бы кланялись... Зачем я буду кланяться, когда он такой же человек да еще, может, и похуже меня? А потом помрет, с собой ничего не возьмет... Бедному и помирать легче. Ты бы выстроил одну избу, – подавай другую, купил одну лошадь, – надо другую, купил шубу, – куплю другую... Стал бы завидовать другим, которые богаче тебя, и последнего бы ума лишился. Да еще сам стал бы обижать бедного-то человека... Ну-ка, подумай?

Емелька только чесал в затылке. И новая изба, и лошадь, и шуба остались неисполненной мечтой...

В Николае Матвеиче именно не было той зависти, которая разъедает жизнь других людей. Он никогда не завидовал никому, – по крайней мере я не слышал ничего подобного. А это – великое дело, когда человек чувствует свою жизнь полной, – он истинно счастлив...

Может быть, я идеализирую своего старого друга, может быть, я не знал других сторон его жизни, но это уже общий удел всех воспоминаний детства... Лично я вспоминаю о Николае Матвеиче с чувством глубокой благодарности.

**2**